
ИЗ ЗАБЫТЬЯ СМЕРТНОГО (А.П. ЧЕХОВ, «СТУДЕНТ»)

«Иисус Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: где вы положили его. Говорят Ему: Господи! Пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как Он любил его. ...Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! Уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что если будешь веровать, увидишь Славу Божию. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! Иди вон. И вышел умерший...»

(Иоанн 11., 33–36, 39–40, 43–44).

В наше время растерянности, суеты, вечной гонки в потемках, когда некогда ни остановиться, ни опомниться, в наше время, которое корпоративную принадлежность делает чуть ли не главной характеристикой личности, а диктат корпоративный являет себя вполне равноценным тоталитарному, все мы (а кто без греха) пребываем в забытьи духовном. В неизбежном томлении духа мы все-таки пытаемся очнуться — и не можем. И потому нам дорого то, что несет сходный опыт.

А опыт такой, конечно, был. Среди первых, кто вспоминается как носитель опыта переживания духовного забытья — А.П. Чехов. О нем не скажешь «жестокий талант», потому что не язвы он вскрывал, а диагностировал болезнь тихую, вяло протекающую — бездуховность, оскудение духа, слабодушие. Но уж опустошенности у его героев столько, что подряд читать Чехова — занятие не для немощ-

ных душою. Как духовный врач Чехов был великим диагностом. Рецептуры он не оставил. Его тяжело читать, но его личность поражает силой духа, способностью человека противостать обездуховленному миру. Он труден, потому что в его рассказах практически никогда нет в финале катарсиса — нет ни просветленности, ни одоления, ни взлета духовного, ни взгляда с высоты. Но зато рассказы эти так «тянут» душу, что читающий или не выдерживает, или начинает искать возможности обретения катарсиса в своей судьбе, в своей душе, возможности найти, отрыть, расчистить источники духовности...

И именно поэтому Чехов заслуживает доверия. Есть у него один рассказ, где дан опыт выхода из забвения духовного, где, вопреки обыкновению, присутствует катарсис. Чехов и сам называл этот рассказ самым любимым. Это рассказ «Студент».

Сюжет его прост. Весной, на тяге, после теплого ясного дня вечером внезапно ударяет мороз, поднимается ветер, темнеет, и герой возвращается домой. Резкая перемена состояния природы и — соответственно — субъективного настроения вызывает у него неадекватное восприятие среды и невеселые мысли. Кажется, что во всем нарушены порядок и согласие. В этот момент становится известно, что он студент духовной академии, сын дьячка Иван Великопольский, что сегодня — Страстная Пятница, дома поэтому не готовили, мучительно хочется есть. И мысли все мрачней. Думается, что ужасы жизни были, есть и будут, и пусть пройдет тысяча лет, ничего не изменится.

Дорога проходит возле огородов, там горит костер. У костра убирают посуду крестьянки-вдовы, мать и дочь. Очевидно, только что отужинали, перехватывает взгляд героя автор. Студент подходит к костру, заговаривает с вдовами, и начинает рассказывать, вспомнив, как грелся у костра апостол Петр, о ночи, когда был взят врагами Иисус, о Гефсиманской молитве, об отречении Петра, о том, как тот опомнился...

Рассказ производит неожиданно сильное впечатление на женщин. Одна из них плачет. Студент прощается, уходит. Опять холод, ветер. Но теперь его мысли меняются. Он думает об осмысленности всего, о связи времен. И им овладевает чувство счастья, только ожидаемого, но все же неизбежного.

Очевидно, что внешне не происходит ничего. Главное событийное содержание связано с изменениями во внутреннем мире героя. Но при поверхностном взгляде и эти изменения не мотивированы.

Непонятно, почему в переживании героя так интенсивно укрупняется конфликт — от испытываемых холода, неуютности до переживания дисгармоничности космических масштабов, от чувства голода к мысли об ужасах, которые были и при Рюрике, и при Иоанне Грозном — и будут и тысячу лет спустя.

Недостаточно мотивов и для перехода к переживанию осмысленности бытия на протяжении двух тысяч лет после Христа, к мысли о том, что правда и красота направляли жизнь и тогда, и теперь. Но тут хотя бы повод есть — рассказ и слезы крестьянки.

Однако почему так легко меняется точка зрения? Ведь ужасы не отменены. Да они и неотменимы.

От современного читателя могут ускользнуть некоторые моменты. Это конкретные время, место и статус героя. Время: вечер Страстной Пятницы. Статус: студент духовной академии, сын сельского дьячка. Место: окрестности родной деревни, где, как видно, студента хорошо знают. Время безразлично для норм поведения. Представим: что делает сельский дьячок после вечерни Страстной Пятницы с выносом плащаницы, когда со всей округи в храм стекаются люди, чтобы к плащанице приложиться. Чего в этот день ждет дьячок сей от своего сына, подчеркнем, студента духовной академии. Что предписывается лицам духовного звания или готовящимся к нему делать в Страстную Пятницу, когда Церковь вспоминает крестную смерть и погребение Иисуса Христа. Что сказал бы инспектор духовной академии, узнав, что его питомец в этот день отправился на тягу пострелять вальдшнепов. Какая сцена сопровождала в таком случае его уход из дому, какими взглядами провожали его отец и мать. Наконец, останется ли все это незамеченным в деревне и в приходском храме.

Ответы очевидны. Ясно, что нарушение норм поведения есть, притом крайне грубое и вызывающее, явно демонстративное, эпатазирующее несчастных родителей, может быть, также и сельского обывателя, но в особенности духовных лиц.

Спросим еще: что скажет настоятель сельского храма, когда узнает (а узнает несомненно!), что студент духовной академии, сын его дьячка, провел вечер Страстной Пятницы на тяге. Это, напомним, время, когда Церковь вместо «Херувимской песни» собирается воспеть: «Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом и ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Гос-

подъ господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным». Собственно, что скажет настоятель этому самому дьячку, т. е. третьестепенному церковному служителю. Сохранится ли за последним место в храме?

Очевидно, по крайней мере, вот что. То, что произошло, со стороны студента, это все-таки демонстрация. Такое могло быть не замечено, скажем, либеральным читателем и «прогрессивной критикой», далекими от церковной жизни. Это даже могло бы ничего не значить для самого студента, который, как многие его современники, уже умел противопоставлять обрядовую жизнь и бытовое поведение. Но для отца, сельского дьячка, этот шаг его сына, конечно, демонстративен. А потому и для самого студента. К тому же он вряд ли мог сбросить со счетов, что он не в подгородней усадьбе либерального барина, а в селе, где все на виду, где нормы устойчивей и жестче в своей консервативности, где жестко и оценивают. Так что студентом все делается осознанно — волей-неволей.

Для того же, чтобы сознательно учинить такую демонстрацию, нужно было довольно много. Ведь это разрыв с отцом, семьей, с ее окружением, с родной и привычной средой. Это готовность переломить свою жизнь. Поступая так, нужно принимать в расчет, о подвиге этом рано или поздно может стать известно в академии. Известны и последствия: проигнорировать такое там вряд ли смогут.

Что ж, рвать так рвать. Но зачем все же так неосторожно, так похулигански грубо, так беспощадно жестоко, попутно оскорбляя чувства верующих: пойти на убийство (пусть вальдшнепов) в день, когда вся Церковь вспоминает убийство людьми Христа, еще и на виду у всей деревни, — да ведь это кощунство.

В уложении о наказаниях, кстати, действовавшем во времена чеховского студента, кощунство определялось как «язвительная насмешка, доказывающая явное неуважение к правилам или обрядам церкви православной или вообще христианской». Хорошо, что там под «язвительными насмешками» понимаются «глумление и бесстыдные выходки, могущие быть сделаны словом или действием». А то ведь под статью можно было подвести, по которой «наказанием является тюремное заключение сроком от 4 до 8 месяцев» Но и без того по краю ходит студент.

Вызов брошен. Последствия будут. Но для себя студент к ним мог быть готов. Хотя и мог рассчитывать, что в условиях всеобщей

либерализации посмотрят сквозь пальцы. Но для отца, у сельского попа, в сельском благочинии такое сойдет с рук вряд ли. Тогда ему, больному, как видно, старику, хоть по миру иди. Вот эта безжалостность — зачем?

Все делается как бы напоказ, как на сцене. Чтоб засвидетельствовать о разрыве со старым укладом, эффектный жест. Но — с истерическим налетом. Нет тут достоинства, спокойствия в сознании правоты, зрелости в отношении к своей и чужой судьбе. Ну да ладно, ему ведь всего 22 года.

Но почему же нет мира с собой, ведь мог бы мнить себя героем, который смело отрекается от устаревшего реакционного мировоззрения, вольнодумцем? Ан нет. Когда человек чувствует, что во всем нарушился порядок и согласие, то нет согласия, скорее всего, с собой, порядка в его сознании, в его переживаниях. Почему такая беспросветность, ведь, судя по учиненному, отказался от обрядоверия, от поповщины, стало быть, от всяческого мракобесия, встал на путь, имеющий более светлую цель, открывающий проясненные перспективы? Где же они, если человек думает, что была и будет, на тысячу лет назад и вперед, бедность, невежество, тоска, пустыня, мрак, чувство гнета, и жизнь практически никогда не станет лучше? Отчего же так легко студенту отождествиться с Петром в те страшные часы, когда тот отрекается, становится отступником? Не здесь ли разгадка?

Поставим вопрос иначе: было ли сознательным и искренним отречение студента от правды и красоты, которые направляли жизнь в Гефсиманском саду и во дворе первосвященника, если так легко вернуться к мысли, что они «всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле»?

О том, что на самом деле произошло со студентом, в тексте не сказано. То, о чем речь в рассказе, — финал драмы, с неожиданной, думается, развязкой.

Однако, есть слова, есть образы и символы, за которыми скрываются целые сюжеты. Предыстория логически вытекает из них, выводится по природе вещей или в соответствии с традицией, известной тем, кто их использует.

Теперь хорошо известно, что в духовных учебных заведениях конца прошлого — начала нынешнего века, особенно в академиях, среди студентов ширилось духовное оскудение и безверие. Впрочем, это и не ново. Многие революционеры-демократы, нигилисты и на-

родники, прогрессисты и либералы — в прошлом семинаристы. Да, казенное отношение к вере, церкви, принудилка в царстве религии свободы и т. п. обуславливали отпадение. Но это в соответствующей среде становилось доблестью. Быть верующим, следовать обрядовой жизни церкви полагалось неприличным, особенно для «культурного, интеллигентного человека». Поэтому более чем легко было верующему человеку, ставшему студентом духовной академии, стать изгоем в наиболее близкой и наиболее значимой для него среде. Толпа обычно навязывает свои взгляды с жесткой нетерпимостью. Хочешь в ближайшем окружении быть своим, исповедуй их. Иначе — не обессудь. Вряд ли была когда-нибудь более непримиримая тирания, нежели тирания «прогрессивных людей».

Таков широкий контекст сюжета нашего рассказа. Миновать его, думается, студент Иван Великопольский не мог. Конечно, не следует преувеличивать сознательность и целенаправленность воздействия среды либералов-вольнодумцев, носителей позитивного взгляда на жизнь и прочих «идейных людей», составлявших, несомненно, окружение студента вдали от родного дома. Тем более, могут быть неосознанными его внутренние состояния. Среда его создавала лишь соответствующую атмосферу. Диктат был бессознательным и неосознаваемым теми, кто ему подвергался. Но дышать нечем, но угнетенность и несвобода есть.

Осознанно или нет, студент Иван Великопольский не избежал отступничества. Однако для него, видимо, это было не переходом к некоему более высокому строю мыслей, а только отпадением. По-видимому, он — неосознанно — оказался в ситуации крайнего конфликта, если допустить, что его быстрое возвращение к ценностному миру христианства свидетельствует о том, что он принадлежал к этому миру, был искренним носителем этих ценностей. В академии же ближайшая к нему либеральная среда навязывает свои нормы, для души студента Великопольского по сути неприемлемые. Но не принять эти нормы — значит быть извергнутым средой. Мужества избрать самостоятельный путь недостает, тем более, что это было бы не по-товарищески, а с другой стороны, это был бы конформизм с официальной системой, да и неловко провинциалом выглядеть, да и ценности толпы всегда чем-то привлекательны. Значит, нужно стать адептом либерального вольнодумства и прогрессизма. И человек сжигает все, чему поклонялся, сам себе навязывает новые взгляды, а чтоб не бы-

ло неладов с совестью, старается как можно искренней да ревностней принять их и утвердить, доказывает сам себе, какой он прогрессивно и свободно мыслящий, честно поступающий идейный современный человек. Под спудом тлеет, время от времени обжигая, совесть, но он забывает ее, глушит, все более четко являя себе свой переход в новый ценностный мир.

Но вот приехал на Страстной домой. И открылось: отвергнутое дорого, мило, как дом родной, как отеческие гроба, это детство и отрочество, это чистота, это часть души, которую, оказывается, надо было ампутировать. Надо все это из сердца с корнем, себя из семьи — с корнем, с домом рвать, с прошлым рвать, ибо вернуться в прежний строй жизни отчего-то невозможно. Но и рвать невыносимо. Разрыв, очевидно, переживается как отступничество, отпадение, недостойное предательство, малодушие, низость. Приемлемого выхода нет. А разговоры уже пошли, уже в доме сказано многое о переоценке всех ценностей. Уже ошеломил он близких, уже они опешили. И приоткрылась бездна падения и отчаяния. И, как в таких случаях бывает, закусываются удила. И — на тягу. Иные скажут: нет бы ему смолчать. Не путал бы область действия норм либералов и нигилистов с областью родного пепелища, все и обошлось бы. Но, видно, человек он цельный и так не может. Значит, на тягу.

Но, может быть, не дошел бы студент до крайности, если бы не было перед ним характерной для либерального сознания подмены. Изымаются у человека религиозные ценности. Для самого студента как религиозного человека — это нечто «главное в человеческой жизни и вообще на земле». То есть опустошается центр сознания, центр сердечной, духовно-душевной жизни. Что же взамен? Ценности общественные, гуманистические, боль за усталого страдающего брата. И ценности серьезные, и боль благородная. Но центр духовной жизни они не захватывают. Там остается вакуум. Подлинно религиозный, искренне верующий человек не может не чувствовать этого. Он, правду сказать, не может жить с опустошенным центром, он впадает в тоску по полноте, в отчаяние из-за недостижимости этой полноты. Но в той среде, которая вызвала весь этот кошмар, сознание постоянно занято, голос сердца заглушён, под наркозом либерального деспотизма опомниться некогда. А тут — дома — наркоз не действует. Становится совсем уж тошно. Но тогда уж — чем хуже, тем лучше. Так что — на тягу.

Вот в каком состоянии, скорей всего, вышел студент из дому.

Тут надо оговориться: то, что происходит со студентом, может быть, и не есть сознательная демонстрация с декларированием прав либерала и вольнодумца. Он, скорее, тот, через кого проходят соответствующие импульсы среды и эпохи, проходят, чтобы быть переданными далее, проходят, возможно, и не задевая его до глубины. Может быть, поэтому он до поры не осознавал кризисности своего положения. Он ведь и правда человек глубоко переживающий, но не рефлектирующий. По сути он прошел через преисподнюю, пал, затем, как мы увидим далее, поднялся, миновал катастрофические провалы — и почти ничего не осознал. Он все это пережил, но не в рефлексии, а в живом чувстве. Поэтому все то, что может вызвать напряженное переживание и быть отражением живых эмоций — так важно.

В скобках заметим — наверное, праздный вопрос: осознавал ли все это сам Чехов. Он осознал то, что явил нам в слове. Он как истинный художник отобразил в рассказе поток жизни и переживания ее героями рассказа. Сама же жизнь в любом ее фрагменте и ее непосредственное переживание столь сложны, богаты и насыщены связями и отношениями в широком пространстве судеб, событий, характеров, проблем, что рассмотрение ее художественного отображения дает возможность проникнуть в выходящий за рамки текста исторический, биографический, духовный контекст. Информация о нем передается через посредство текста, но она не задана художником, она дана в отображаемом бытии и в образном ее отображении. Она не зашифрована художником, который может искреннейшим образом не подозревать о ее существовании. Ее и порождает, и кодирует бытие.

И вот студент в лесу. Долго ли могла утешать его природа? Однако утешила. Тут следует указать: то, что происходит в предыстории со студентом Великопольским, естественно связать с образами пространственного характера. Он покинул родное гнездо, где был защищен, огражден, где было соответствие между его внутренним миром и миром внешним, т. е. зону, где действовали нормы привычные и для него естественные, свободу его не стеснявшие. Он вышел во внешний мир и попал в зону, по природе конфликтную, где действуют две нормы: официальная и неофициальная. Непосредственно соприкоснуться приходится со сферой действия неофициальной нормы. Официальная среда дальше во внешнем мире. Хотя содержательно она подобна среде, в которую он был погружен в родных пенатах, од-

нако абсолютно нетождественна в плане душевном, в плане эмоционального восприятия, переживания жизни. Неофициальная среда резко противоположна привычной, складывается несоответствие внешнего и внутреннего, при этом внутреннее не защищено, не ограждено от негативных воздействий внешнего. Внутреннее оказывается открытым для информации только одного — неофициального, либерального вольнодумно-прогрессистского типа. Об идеологии же подобной можно сказать так: она плоскостна, в ней нет вертикали, нет через эту вертикаль обращения к вечности. Все рассматривается в плоскости социального бытия, в движении по плоскости социальной истории. Без вертикали — нет абсолюта, нет главного ориентира, нет Солнца Правды, по которому каждый самостоятельно мог бы сверять свой путь. В результате — утрата самостоятельной ориентации во внешней среде и опустошение центра в среде внутренней. Внешняя среда закрыта и в плане свободы выбора направления пути каждым, кто в нее попадает, и в плане отсутствия простора для выбора, пространства свободы, в плане стеснения, принудительности пути. В каком-то смысле и вырваться из нее невозможно. Пространство ее закрыто, замкнуто. И в то же время пусто. Родной души нет.

Не выравнившись из него приезжает Иван Великопольский в родные пенаты. Он привозит сюда этот несвободный опустошенный мир, с его нормами, с его предрассудками, с его суеверным поклонением идеалам либерал-прогрессизма. В родной мир он как бы и не вступает, контакта ни с кем нет. Пространство его опустошено, и внутреннее, и внешнее. Соприкосновение же того пространства, к которому он теперь принадлежит, и мира родного дома — это как столкновение мира и антимира. Эта катастрофа должна вызвать аннигиляцию одного из миров, а то и обоих.

Что и происходит, сначала в пространстве родного дома, затем в пространстве души студента. Он оборвал все связи. Дом потерян. С ним утрачен центр бытия. Он один. Мир пуст. Центр души пуст. Вокруг — плоская зона конфликта, который не обойти, не перепрыгнуть. В таком вот состоянии он выходит на тягу. Странно ли, что он необыкновенно чуток к восприятию любого пространственного образа.

Природа утешила его. «Погода вначале была хорошая, тихая». Значит, здесь — зона покоя, равновесия, область, где нет конфликта. И она, видно, защищена от негативных воздействий.

«Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нему прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело».

Кто бывал на тяге, знает: стоят в гуще леса, но на опушке, либо у края поляны, над головой должен быть светлый проем открытого неба, по которому и тянут птицы. Туда тянет и взор. Есть как бы центр, есть вертикаль. Для зрения простор закрыт, но слух героя дает представление о достаточно широком пространстве, о котором поступают сигналы: и дрозды, и что-то живое где-то в болотах. Поэтому и это такое раскатистое и веселое. Простор этот знакомый, понятный.

И все бы ничего. «Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный, пронизывающий ветер, все смолкло... и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо».

Стемнело — значит, закрылся обзор, ни простора нет для взгляда, ни вертикали, зовущей взор. Все смолкло — закрылось и слуховое пространство. Ничего не видно, не слышно. В общем — глухо. Аналог сурдокамеры, закрытого с точки зрения поступления информации пространства. А недостаток информации вызывает неврозы и стрессы. Не поступает информация — нет предмета для человеческой (очеловечивающей) интерпретации. Потому и нелюдимо.

А с другой стороны, для негативных воздействий пространство это вполне открыто. Ветер — пронизывающий.

В страдании, в отчаянии люди склонны придавать символическое значение даже мелочам. А тут тем более все так похоже, так напоминает самое уязвленное. Это ведь в предыстории было. И теперь повторяется. Опять незащищенное внутреннее и враждебное внешнее, опять информативно закрытое пространство, опять в зоне неблагополучия. Опять ни центра, ни вертикали. Вот почему почти мгновенно приходит реакция:

«Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки стусились быстрее, чем надо».

Конфликт разрастается до размеров видимого мира — здесь тоже «нарушение нормь»: «вечерние потемки стусились быстрее, чем надо». Ну, надо или не надо тут, конечно, студенту, но, действительно, тьма накрыла лес и заливной луг, которым возвращался с тяги студент, раньше, чем ожидалось, это позволяет предположить, что небо закрыла непроницаемая пелена туч. В конце рассказа она сдвинется

с горизонта. А сейчас здесь «пустынно и как-то особенно мрачно». Больше того, «самой природе жутко».

Надо сказать, такие состояния, как страх (ужас), тревога обернуты к будущему: они вызываются ожиданием более или менее неизбежного наступления таких событий, которые нежелательны для носителя переживаний и объективно для него опасны, в любом случае негативны. Жуть наступает, когда то, что предстоит, неопределенно, неведомо, иррационально, внепредметно, жутко заглядывать в провал, в бездну, в ничто. Здесь ясно, что перед провалом, перед пустотой бездны застывает в жутком томлении душа. Душе дан мир воспринимаемый. И состояние, наполняющее душу, естественно переносится на заполняющий восприятие мир. Душе дан мир осознаваемый, т. е. весь мир, космос, и этот космос, будучи погруженным в душу, погружается в тот же мрак, в ту же пучину. Так происходит предельная глобализация конфликта — до космических масштабов: нарушен во всем порядок и согласие. Внутреннее становится внешним. Внешнее соответствует внутреннему. Но в каком качестве!

Жутко. Потому что и во внешнем мире, и во внутреннем, в космосе и в микрокосме состояние энтропии: разбежались галактики, опустел прежний центр, наступила тепловая смерть вселенной. Пусто в душе, но и «кругом было пустынно и как-то особенно мрачно». Жутко, потому что взору открылся не первичный — рождающий хаос, где все еще не расчленено, не выделено, где еще царит слитность и бесформенность, где еще нет упорядоченности и структурности, но стоит этого хаоса коснуться неким жезлом, и начнется кристаллизация. Нет, у нас хаос распада, опустошения, хаос конца, небытия, хаос на пороге «Ничто». И мысль об этом распаде не найдет просветления даже в апокалиптическом видении. Ибо в апокалипсисе конец мира есть не только гибель. Там прежнее прошло, но откроется новое небо и новая земля. Даже если для кого-то апокалипсис это только суд и приговор, то и в этом есть осмысленность.

Конец же для изверившегося человека есть только пустота, смысла он не несет.

Секуляризация культуры породила самое жуткое переживание конца (жизни человеческой или мировой), в котором нет ничего, кроме провала, пустоты, душевной опустошенности, в котором смысла нет. Все абсолюты были отменены, а на их место поставлен абсолют пустоты и бессмыслицы.

Для современного человека это обрушивание в хаос действительно легко связать с образом впадения в энтропию, с образом тепловой смерти. Разбегаются галактики абсолютов. Опустошается пространство мира, культуры, души. И наступает тепловая смерть.

Вспомним, что холод приходит извне, тепло идет изнутри, холод не нуждается в центре — так, как тепло, ибо тепло должно непременно иметь свой источник. Тепло — это наполненность центра, внутренняя полнота, тепло нужно сберегать, ограждать. Здесь естественно возникает представление об огражденном центре.

Студент не защищен, не огражден от внешнего холода. Но хуже иное — нет у него внутри источника тепла, не наполнен теплом центр его внутреннего мира, более того, он не только открыт враждебному воздействию мертвящего холода, он по сути сам опустошен, холоден, сам омертвлен, распространяет вокруг холод, мертвит весь микрокосм. И именно этот, внутренний холод «нарушил во всем порядок и согласие».

Мир перевернулся. Там, где должен быть источник тепла — в центре, в сердцевине сердца — там источник заполняющего все холода. Мир студента выворочен наизнанку. Все перевернуто, переворочено, извращено. Это — знак смерти. Во всяком случае, духовной.

И вот он идет сквозь мрак, мглу, пустыню, хаос, как идет через мир смерти герой инициационного мифа. Этот герой должен дойти до центра мира смерти, до края, предела, центра, средоточия негативности. Хаос, в частности, с точки зрения культуры и этики, это неразличение добра и зла. И задача героя, попавшего в ситуацию такого неразличения, смешения, найти способ различить, преодолеть негативное на самом его полюсе и тем обрести позитивное в самом себе, а тем самым обрести статус прошедшего испытание, посвященного.

В свое время утративший ориентиры и духовно потерявшийся, студент уже давно находится в центре хаоса, неразличения добра и зла, в центре негативности. Настало время это прочувствовать до конца и, если душа не умерщвлена совсем, искать выход. Путь — вот что ему нужно. Ориентир — вот без чего невозможен путь.

И он появляется. Идя заливным лугом по тропинке, студент увидел, что «на вдовьих огородах около реки светился огонь». Это свет во мраке, это тепло в холодной пустоте. Это центр, миновать который нельзя. Именно в этом центре произойдет решающее событие: вер-

нется различающая добро и зло интуиция, осуществится духовное преодоление негативного, благодаря чему откроется источник позитивного — в душе.

Но прежде нужно пройти до конца оставшиеся круги преисподнего мира. Вот мир, открывающейся перед устремленным в себя взором: «Студент вспомнил, что когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял, по случаю Страстной Пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть».

Через две строки станет ясно, что всюду: в краю родном и, очевидно, в родном доме студент видит только бедность, невежество, мрак, чувство гнета, а повод — вот эта только что приведенная жанровая сценка в духе передвижников. А ведь этим можно и любоваться, этот образ мог бы стать дорогим воспоминанием. Но вместо этого он вызывает легкое отвращение и отталкивание. Ну, хоть ясно почему: предыстория такова, что родовые связи рвутся, пространство родовой жизни рушится. Врагами становятся студенту домашние его, дом извергает его — и вот он во тьме внешней, продуваемый всеми ветрами, открытый любому негативному воздействию, не защищенный, брошенный во враждебный мир, одинокий, отчужденный.

Мир становится чужим, родной дом теряет ценностные свойства, перестает быть родным. Утрачивается близость с чем бы то ни было, и вот теперь в мире Дома нет, и мир, чужой и враждебный, не есть Дом для героя.

Как естественно было бы в рамках традиционной культуры искать спасения от внешнего враждебного хаотичного мира в жизни семьи, рода, в родном доме, где есть тепло очага, тепло этой родовой жизни, защищенное стенами, огражденное от тьмы внешней. Но гнездо это, где очаг, где пепелище, где все родное, куда можно было бы прийти и голову там приклонить, где был бы понят и близок безоговорочно, и не по заслугам, а потому что ты из этого дома, этого роду-племени, вот это гнездо-то и потеряно, отвергнуто самим студентом. И вместе с тем утрачена одна из фундаментальнейших ценностей. Дома у него нет. Идти по сути некуда. Он — бездомный. Корни оборваны.

Но это опять один из либерально-прогрессистских предрассудков. Все либералы-вольнодумцы сродни Базарову, все они родное гнездо презирают, попирают, рвут с ним. Опять подмена: социальные

ценности вместо Дома. Очевиден параллелизм этих вольнодумно-либеральных подмен: социальное должно вытеснить и религиозное, и родовое. Это не случайно. Перед Богом человек предстает в своей цельности и полноте, во всей целостности личности. Но и в жизни родовой, семейной — то же самое. Иное дело — любая форма активной деятельности, общественного бытия. Там человек важен функционально, там он берется в определенном аспекте, там он выступает в той или иной роли и как исполнитель ее и интересен, там он частичен, там он может быть взят как колесико, винтик или щепка.

Как раз такой утилитарно-прагматический, функционально аспектальный подход и свойствен «идейным людям» — либералам и вольнодумцам. Они, пожалуй, и вырвали бы человека с корнями из его дома и рода — только ради того, чтобы у него не было этой целостности, а стало быть, самостоятельной ценности, чтоб не читил он самого себя, не имел «самостоянья» — и был удобен для оперирования и всяческих манипуляций.

В сознании студента такая подмена происходит: отворотившись от родного дома, он устремляет взор в сторону бытия социального и социальной истории — ведь ему вместо дома предоставляется именно это как место его осмысленного обитания.

Но когда в Доме — конфликт и с Домом конфликт, это не шутка. Для человека это нечто большее, чем неравновесие космическое. В социальном бытии и социальной истории поэтому студент тоже усматривает только конфликт, причем происходит его предельная глобализация: «И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что и при них была такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше».

Неразрешимый конфликт представлен в предыстории рассказа, неразрешимый конфликт с Домом, как он предстает в скупых строчках повествования. Как бы по аналогии неразрешимый конфликт открывается взору и в сфере социальной: там прохудившиеся строения, там жизнь и души продувает ветер, там дыры в крышах и пустыня кругом, бедность, невежество, мрак, чувство гнета.

А главное — тоска. Тоска — переживание, ориентированное не в прошлое, а в будущее. Она связана с тем, что в будущем нечто край-

не необходимо, желанно — и в то же время оно или почти недостижимо, или все время отодвигается в неопределенное будущее, или уходит вовсе за пределы досягаемости. Именно такой (в отличие от трансцендентной тоски по вечному, описанной Н.А. Бердяевым) может быть тоска в плоскостном мире социального бытия. Такой и только такой, очевидно, должна быть и тоска либерала-прогрессиста. Он ведь всего-то и знает, что одномерность поступательного движения прогресса.

Но идея прогресса есть иллюзия. Ибо всякий исповедующий ее полагает, что прогресс охватывает все бытие, что он есть не только в материальной, но и в духовной культуре, не только в общественном договоре, но и в социальном бытии, не только в области права, но и в области нравственной. Да, собственно, прогрессист всегда готов подменить духовное материальным и совершить все прочие подмены и потому в конечном счете всегда обречен на крушение иллюзии прогресса, ибо не может быть готов к столкновению с духовным оскудением и нравственным одичанием на фоне того, что, скажем, все накормлены и живут в комфорте, или на фоне длительного пребывания в системе цивилизованных отношений, которые, оказывается, так легко рушатся. Он не готов к столкновению с прямым озверением, скажем, народа, давшего миру таких-то гениев мировой культуры, или, на худой конец, просто народа-Богоносца.

Вообще дело не собственно в либерализме, прогрессизме и т. п. Суть проблемы тут скорее в том, что идеологические иллюзии становятся стереотипами массового сознания и его аналогов и при том, как это почти всегда бывает, принимаются без рассуждений под давлением авторитета или под диктатом толпы. Главное же, что иллюзии, и чисто идеологические, т. е., как правило, безжизненно сухие, плоско-рассудочные, подменяют духовные ценности, подменяют абсолюты. Таков один из распространенных синдромов духовного нездоровья общества. Это так знакомо нам в XX веке. Это на самом деле до сих пор наша неизжитая боль.

Скажут: всего этого нет у Чехова. Правда. Но это есть в контексте судьбы студента. И все же, действительно, Чехов написал не об этом. Он просто рассказал, как разрастается конфликт, в который втянут студент, захватывая все пространство-время истории всего мира, но ни слова прямо не сказал о причинах его. Почему? Потому что они не лежат на поверхности и не там их следует искать.

Они, безусловно, не в социальной плоскости. Мы, похоже, в поисках их тоже не прошли до конца пути. Чтобы пройти дальше, нужно выйти за пределы коллизии не только социальной, но и нравственной. Главная причина катастрофы в духовном состоянии студента и мира, в который он погружен. Мир это тот, в котором возможно не только появление письма Белинского к Гоголю, но в котором оно должно быть признано справедливым в некоторой части, как бы нам ни хотелось обратного. Имеется в виду замеченное и Белинским: это мир, в котором отпадение совершалось всем миром, а не «лучшими представителями». Это мир духовно больной. Поэтому, кстати, он позднее, уже в XX веке, и пал столь низко, что и храмы были разрушены, и дороги к ним заросли, а вовсе не потому, что некоторые злонамеренные люди или их сообщества совратили Богоносца-народ. А если подойти иначе, потому и совратить его было легко, что он готов был быть совращенным. Если же говорить о духовном состоянии студента, то будь оно нормальным, здоровым, никоим образом невозможно было бы вызвать такой всеобъемлющий кризис в нем и столь болезненную реакцию на этот кризис. Во всяком случае ясно, что болезнь духовная охватывает и мир, в который погружен студент, и его самого. Последнее ясно и автору. Главное из высказанного им: болезнь духовная нуждается и во врачевании духовном. Студенту необходимо собственно духовное просветление, очищение. Это и происходит с ним.

Студент, и тут первый предвестник перелома, иллюзию прогресса на наших-то глазах и отбрасывает: «оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше». Видно, наступает прояснение в его сознании, он трезвеет. На самом деле это, наверное, потому, что он заглянул (а может быть, и ступил на несколько шагов) туда, где ждет духовная смерть. Внутренне он вжился в эту ситуацию, вчувствовался в это переживание. Это взгляд оттуда. Взгляд беспощадно трезвый.

И этот взгляд открывает, что мир социальный, пока живо человечество, несет в себе неразрешимую конфликтность. В нем найти Дом невозможно. Но и иллюзия прогресса не предоставляет нам надежного убежища. Это дом на песке.

Идти — некуда.

Вот теперь бы и вернуться студенту в свой отчий Дом, вернуться бы к отцу. Но он все еще упорен в своей бездомной гордыне: «И ему не хотелось домой».

Однако слово «тоска» нам открывает возможность надежды. В тоске, если это только не плоская тоска прогрессиста, есть то, что усмотрел в ней Н.А. Бердяев: «Тоска направлена к высшему миру и сопровождается чувством ничтожества, пустоты, тленности этого мира... Это есть до последней остроты доведенный конфликт между моей жизнью в этом мире и трансцендентным. Тоска может пробуждать богосознание, но она есть также переживание богооставленности... Тоска, в сущности, всегда есть тоска по вечности, невозможность примириться с временем».

Но такая тоска и есть духовная альтернатива прогрессизму, все ценности которого в одномерном времени.

И вот студент у костра. «Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо».

Что узнаем мы друг в друге, если мы не родные по крови, не близки социально, не связаны узами товарищества, не объединены корпоративно? Почему, узнав, улыбнемся приветливо? Узнаем человека, т. е. брата или сестру по человечеству, улыбнемся своему подобию в другом и его подобию в себе, т. е. это радость от переживания в себе и встречи в другом образа и подобия Божия. Если это не всегда так, то здесь именно так. В дальнейшем — тому подтверждение.

Но с этого момента начинается действие этой среды — среды людей как образов и подобий Божьих. Она альтернативна всем прежним сферам, которые прошел студент. Сфера природы, рода, сфера социального бытия, — все конфликтны, все отчуждают студента. Здесь же нет катастрофизма и нет отторжения. Напротив, приятие.

Это должно быть то, по чем человек может истоскаться до отчаяния: приятие человека человеком не по корпоративному признаку, не из идейных соображений, а потому что другой заведомо образ и подобие Божие. Это и есть та среда, родная среда, которой так долго был лишен студент.

И она начинает исцелять его. Наваждение, которое овладело было им, постепенно отступает.

Скорее всего, в первый момент ему становится неловко: он вечером Страстной Пятницы идет откуда-то из лесу, да еще и с ружьем за плечами. Заметить это мог, собственно, сам студент. Женщины, скорее всего, не обратили или во всяком случае не зафиксировали внимания на этом ружье за плечами. Их позиция, надо думать, не нормативна. Простой человек у нас никогда не становится законни-

ком, психология его такова, что он дистанцируется от любой официальной позиции. Да и к вере, Богу и Церкви такие люди относятся попросту: в положенные дни посещают храм, но не смешивают обрядовой жизни с бытовой. Христианство, церковность у людей этой среды не находятся в центре сознательной жизни, хотя соответствующие мотивы могут вызывать глубоко сердечное отношение. Главное же средоточие христианского модуса бытия у них — это совесть, это человечность их поведения.

И все же студенту неловко. Чтобы загладить у себя это чувство неловкости, он и заговаривает на тему, приличествующую моменту: «Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр».

И сразу, с первых слов оказывается в мире родном, обжитом, где известна каждая черточка, в том конкретном, живом, напряженном мире судеб Иисуса и Петра, который для верующего человека существенно значимей мира догматов, ритуалов, уставов, идеологии.

Мир евангельских событий захватывает его, но не только созерцательно, не только как достояние прошлого. Так точно, как в живой жизни церкви, происходит приобщение к миру вечному и через вечность к тем событиям, которые предстают перед его взором. События эти в таком случае переживаются как происходящие здесь и сейчас: обрядовое пространство-время воспроизводит пребывающее в вечности пространство-время священной истории. То же происходит в живом переживании студента, но, кроме того, он очень лично переживает эти события, как бы сам становится их участником, по сути отождествляясь с Петром.

Он очень живо представляет себе и очень эмоционально воспринимает то, что происходило тогда: «Ах, какая то была страшная ночь... До чрезвычайности унылая, длинная ночь. Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой»... Судя по последней фразе, параллельно и экзистенциально тождественно студентом переживается нынешняя ночь и та, евангельская. Возможно, он сам не понимает, отчего так.

Но то, к чему обращается его взор, показывает, что же именно его волнует, вскрывает процесс самоосознания. Разве случайно то, что фокус точки зрения помещается во внутреннем мире Петра; его переживания раскрываются во всей детальности и полноте, его состояния даны как бы изнутри. Из двенадцати евангельских чтений, посвященных последним часам земной жизни Иисуса Христа, можно выбрать

разное. Студент выбирает это — историю отречения Петра. И об этой истории можно говорить по-разному, скажем, осуждая Петра. Он же говорит, «зная» досконально, чем живет в это время Петр, что он переживает, сочувствуя всем сердцем ему: «После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна... Потом Иуда поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед. Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били»...

Так вот с чем приходится отождествиться! А ведь верно: студент Иисуса, Церковь, веру любил сызмальства как родной, самый близкий сердцу мир, а потом попал в среду, где принято было все это самым гнусным образом охаивать, и помалкивал, «глядя издали», как изгаляются над святыней либералы-безбожники. Сам отравленный дурманом этого либерального вольнодумства, он и не чувствовал боли. Но теперь наркоз стал отходить, и он вспомнил или просто живо почувствовал, что все это любил «страстно, без памяти»...

Как больно ему, почувствовавшему все это, становится ясно по тому, что даже тупая, забитая мужем Лукерья «оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента». Не сознавая, что говорит уже о себе, студент продолжал в деталях рассказывать о троекратном отречении Петра: «Около костра стоял Петр, — говорит он, — и тоже грелся, как вот я теперь». Он уже проговорился, но сам еще не понимает, как близок ему Петр и что только поэтому он способен так глубоко, так изнутри понять его.

Оговоримся еще раз. Безусловно, выбор сюжета и характера его представления в повествовании студента осуществляется неосознанно. Иван Великопольский сам не знает, почему ему вспомнился Петр, почему именно Петру он так сопереживает. Если бы ему предъявили приведенное здесь объяснение мотивов его поведения и переживаний, он бы, может быть, удивился, а то и возмутился. Но не быть осознанным не значит не быть вообще. Неосознаваемая душевно-психическая жизнь, неосознанные мотивы и реакции, может быть, играют решающую роль в наших судьбах — и внешних, и внутренних. Вот это — неосознанное, но реально вытекающее из ситуации и контекста, в которые погружен студент, и хочется вскрыть.

И вот — финал рассказа студента: «Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые Он сказал ему на вечери. Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В евангелии сказано: «И испед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания».

Рассказ в рассказе завершен. В его концовке найдено слово «очнулся». Действительно, все то, что произошло в ту ночь с Петром, обусловлено состоянием, от которого Петру нужно было опомниться, очнуться. Его сознание, его воля были парализованы. Он не владел собой, будучи как бы в прострации. Его поведение было автоматическим, по характеру своему, в сущности, опустившимся до рефлекторности реакции — срабатывает инстинкт самосохранения: «Я не знаю Его». Наверное, это прострационное состояние, с точки зрения студента, началось уже во время Гефсиманской молитвы. «После вечери Иисус смертельно тосковал и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна». Это состояние автоматизма, когда человек не владеет собой, своей волей, действует механически, не отдавая себе отчета в том, каково нравственное качество его поведения: «Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выпавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед. Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как Его били...»

Это наваждение. Тут нельзя оценить поведение как аморальное, безнравственное. Оно вообще вне этики. Оно по ту сторону добра и зла. Оно вне оппозиции духовность — бездуховность: такая оппозиция предполагает выбор. Здесь же мир, где духовность невозможна. Выбирать не из чего. Есть лишь тьма внешняя.

Будь Петр не в состоянии оцепенения, он, безусловно, вел бы себя иначе. Ведь он тот, кто сказал Иисусу: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Он — камень, на котором Христос намерен был Церковь Свою основать, он — тот, кому Иисус сказал перед вознесением: «Паси ягнят моих». В эти же минуты Петр был «не в себе». Вменим ли мы ему содеянное?

Петру надо было сбросить наваждение, опомниться, очнуться. Петр очнулся. И у него открылся источник слез, источник покаяния. Об этих слезах, очевидно, с завистью, с тоской, с мукой студент гово-

рит трижды: «...очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания»...

Студенту еще надлежало бы дойти до переживания покаяния, еще, может быть, предстояло открыть в себе источник слез. Но в этот момент он сам еще не очнулся. Он был в отчаянном тупике, он чувствовал безысходность, но его томление духа не обрело еще предмета — он не понимал, что душа его томится по покаянию, по слезам. Но томление, ищущее, мучительное, — было. Испытывая именно его, «студент вздохнул и задумался».

И именно эта его боль, тоска, это отчаяние и томление неожиданно находят отклик: «Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, избыточные, потекли у нее по щекам. А Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль».

Стоит ли говорить, что вдовы не сознают скрытых мотивов и неочевидной направленности их переживаний? Спроси их, они бы, вопреки мнению Ивана Великопольского, объяснили бы это тем, что он трогательно рассказывает. И согласились бы, что всем сердцем заинтересованы в том, что происходило с Петром. Но стоило бы спросить у них, отчего же он так трогательно рассказывает, и, может быть, они сразу же и поняли бы, что почему-то по-бабьи жалеют его, студента Ивана Великопольского.

Студент найдет иное объяснение этому, но ведь он некоторые вещи так до конца рассказа и не осознал, да он и не может быть — в его-то состоянии! — объективным. Поэтому он так и не увидел и не понял того, что этим женщинам было больно за него, которого они видели перед собою, и гораздо меньше — за апостола Петра, которого они не видели. Они его, Ивана Великопольского любили, ему сострадали, ему — в целостности его неповторимой, единственной личности. Они его не отвергли, а приняли, его сокрушенного и смиренного сердца не уничили.

Тут выстраивается некая закономерность. Раз от разу Чехов как бы демонстрирует нам, что главное часто не осознается и что неосознанное часто предопределяет все. И это едва ли не самый главный и самый сильный контраргумент вульгарной рассудочности либе-

рального прогрессизма, примитивному рационализму поверхностного вольнодумства и всех видов «передового» мировоззрения «идейных людей». Но главное, Чехов предстает здесь как художник, способный глубоко и абсолютно интуитивно проникнуть в недра бессознательного. В этом его сила и его тайна. Пусть постичь ее трудно, но как важно попытаться представить себе те содержательные перспективы, которые приоткрываются в тексте, увидеть те смыслы, не осознанные самим автором, но закодированные в тексте кодом бытия и эстетическим кодом великого художника.

Бог есть любовь. Это особая любовь, та, о которой Христос сказал: «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как Я полюбил вас» (Иоанна, 13,34). Как Он полюбил нас, т. е. любовью жертвенной, самоотверженной, любовью, не ищущей своего, а ищущей, как положить душу свою за други своя, любовью сострадательной, прощающей, упокоивающей труждающихся и обремененных, любовью, готовой взять на себя иго и бремя брата, но для которой иго это благо и бремя это легко.

Такую любовь к себе должен был бы почувствовать студент у этих вдов. В людях же, имеющих в сердце эту любовь, Бог пребывает (см. 1 Иоанна, 4,12). Вот что можно было бы ощутить в непосредственном переживании, вот в чем воочию убедиться — на собственном опыте.

Для души, которая по природе христианка, страдающий человек, кающийся грешник — это тот, кто дает возможность прощать, сострадать, жить в любви. И, значит, такая встреча и приводит к тому, что Бог, Который есть любовь (см. 1 Иоанна, 4,8), является посреди участников встречи.

В единстве верующих предстает Церковь как тело Христово. Она как общность любящих и совершает здесь, на земле, то, что начал в Свое время Христос, она дает где приклонить голову, сострадает, прощает, исцеляет, прогоняет наваждения... Поэтому такая встреча дает человеку возможность вернуться к жизни из черного провала Богооставленности. Значит, эта встреча есть встреча с Богом. В любви, прощении и сострадании этих бедных женщин к студенту приходит Христос, чтобы вызвать его из бездны падения и отчаяния.

Пусть студент думает: «Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра». Пусть он думает, что благодать их любви

дарована Петру, не замечая, что она дарована ему, студенту Великопольскому. От этого благодать не потускнеет. Напротив, здесь — преизбыток милосердия, которое спешит делать добро, не дожидаясь, пока виновный придет с повинной. Поэтому, вопреки возможным ожиданиям, здесь не появляется отголосков сюжета притчи о блудном сыне. Здесь избыточествует благодать, она подается нуждающемуся в ней, несмотря на то что он не осознает ни своей нужды, ни необходимости покаяния, ни того, какую именно благодать получает. Но тем больше преизбыток ее!

Мера ее становится, пожалуй, яснее, когда обнаруживается, что в лице двух старух Церковь, тело Христово, а с ней и Сам Христос плачут над студентом, пребывающим во мраке и забытии смертном, после чего он выходит оттуда, как друг, которого любит Господь, на зов Любви, чтобы быть в Ней и с Нею.

Но ведь точно так было с Лазарем четверодневым. Стало быть, студент на самом деле — Лазарь, который был мертв и уже смердел и восстал из гроба.

И что до того, осознал ли студент, что был мертв. Наваждение исчезло, жизнь в Любви — единственная подлинная жизнь — вернулась.

«И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух».

Да, Иван Великопольский не осознает, что на самом деле произошло с ним, но над ним уже не властен враждебный мир природы, а вместе с ним, можно думать, социальных конфликтов — глобальных и мелких. Когда студент отправился дальше, «опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима»...

Но теперь студент думал о другом. Его образ мира вновь обрел «измерение к вечности», а с ним — порядок, согласие, смысл.

Из забытья и смерти, телесной ли, духовной, возвратились к жизни в Любви и Лазарь, и Петр, и студент. Испытав тот прилив сострадания, сдерживаемой боли, к жизни в Любви вернулись и вдовы, Василиса и Лукерья.

Вот почему совершенно уместны мысли студента: «Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

Во внутреннем пространстве рассказа появляется реальная — и в то же время символическая река, как из финала инициационного мифа. Появляется вертикаль и движение вверх, в гору, открывается закрывшийся было простор (сдвинулись тучи и проглянуло на западе несущее отблеск солнца небо), и то селение, где живут родители, именуется родным: «...он переправлялся... через реку и потом, поднимаясь в гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкой полосой светилась ... заря».

Теперь пространство раскрылось и обрело вертикальное измерение, в нем есть путь и центр, порядок и связанность. И впереди — свет. Прежде утраченное символически вернулось. И опять все — даже чисто случайное — воспринимается обостренно прочувствованно, расценивается, или, по крайней мере, может быть истолковано символически. Не правда ли, студент, глядящий на запад, где горит заря, в глазах человека, мыслящего категориями богослужебной практики, реализует то, что дано в словах молитвы «Свете тихий», пропеваемой в храме на вечерне: «Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний...» В этой молитве воспевается Сын Божий, дающий жизнь. Так возвращает Бог на стези Свои студента духовной академии Ивана Великопольского.

Когда Бог воскрешает, благодать пребывает в избытке. И теперь у студента открывается новое зрение, и он начинает видеть рядом с теми ужасами, которые были и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, есть теперь и будут еще через тысячу лет, рядом с тем ужасным, что произошло в Гефсиманском саду и после, то, что дается измерением к вечности, иными словами, измерением к Любви. Ни жестокий ветер, ни бедность, невежество, мрак, чувство гнета, ни страдания и смерть Иисуса не отменены, не проигнорированы, это было, есть, возможно, и будет. Но есть рядом — любовь, жертвенность, покаяние, есть возможность подвига любви, который совершается через боль, страдание, самопожертвование, бичевание и кровь. Но если это есть — есть смысл, есть абсолют, есть путь, и истина, и жизнь.

Это-то и открылось студенту, который «думал о том, что правда и красота, направляющие человеческую жизнь там, в саду, и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле».

Так подходит к концу это повествование с открытым финалом. На самом деле добавить уже нечего. Дальше — новый сюжет, новый виток судьбы. Прежнее, однако, прошло, оставив нам в достояние живой, выстраданный опыт, обобщить который немислимо.

Да и стоит ли обобщать, когда и так — душе все ясно. Что можно добавить, какой итог подвести, если такой бурный, неистовый катарсис, такой взлет, одоление и просветление происходит на наших глазах: «...И чувство молодости, здоровья, силы... и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла».